

18+

ПАВЛА ГОРОДИЛЬ

Тринадцатое октября

МИСТИЧЕСКИЙ РОМАН

«Вода не обманывает.

Вода — единственное, что не врёт»

— из дневника Варвары, 1891

Павла Городиль

**Тринадцатое октября. Вода
не обманывает. Вода —
единственное, что не врёт» —
из дневника Варвары, 1891**

«Издательские решения»

Городиль П.

Тринадцатое октября. Вода не обманывает. Вода — единственное, что не врёт» — из дневника Варвары, 1891 / П. Городиль — «Издательские решения»,

Реставратор Александра приезжает в полузаброшенную усадьбу в глубинке, чтобы восстановить старинный семейный архив. Она находит дневник прапрабабушки Варвары — и с ужасом узнаёт в нём собственную жизнь: тот же дом, тот же пруд, та же ночь на тринадцатое октября. Сто тридцать лет назад Варвара готовила побег — и погибла. Теперь история начинает повторяться, и её очередной жертвой может стать Александра. Единственный способ разомкнуть петлю — назвать правду, которую молчали четыре поколения.

Содержание

александра морозова	6
Тринадцатое октября	7
мистический роман	7
Роман	8
Аннотация	8
Содержание	9
ПРОЛОГ	10
Часть первая. «Дом»	11
Часть вторая. «Пруд»	12
Часть третья. «Тринадцатое»	13
ПРОЛОГ	14
— — Часть первая. «Дом»	16
ГЛАВА 1	16
— — ГЛАВА 2	19
— — ГЛАВА 3	23
— — ГЛАВА 4	26
— — ГЛАВА 5	29
— — ГЛАВА 6	31
— — ГЛАВА 7	35
— — ГЛАВА 8	38
— — ГЛАВА 9	41
— — ГЛАВА 10	45
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Тринадцатое октября Вода не обманывает. Вода — единственное, что не врёт» — из дневника Варвары, 1891

Павла Городиль

© Павла Городиль, 2026

ISBN 978-5-0071-0548-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

александра морозова

Тринадцатое октября

мистический роман

Роман

Аннотация

Молодая реставратор Александра Морозова приезжает в полузаброшенную усадьбу в русской глубинке, чтобы восстановить семейный архив. Найденный за панелью камина дневник её прапрабабушки Варвары перекликается с сегодняшним днём до жути буквально: тот же дом, тот же пруд, та же ночь на тринадцатое октября. Складывается ощущение, что трагедия, случившаяся здесь сто тридцать лет назад, начинает повторяться — и что её очередной жертвой может стать сама героиня.

Единственный способ остановить петлю — разгадать, что на самом деле произошло в усадьбе в 1891 году. И сказать правду вслух.

Мистический детектив с русским историческим колоритом: три временные линии, зеркальные совпадения, семейные тайны и любовь, которая не умещается в одно столетие.

Содержание

ПРОЛОГ

Часть первая. «Дом»

- ГЛАВА 1
- ГЛАВА 2
- ГЛАВА 3
- ГЛАВА 4
- ГЛАВА 5
- ГЛАВА 6
- ГЛАВА 7
- ГЛАВА 8
- ГЛАВА 9
- ГЛАВА 10
- ГЛАВА 11
- ГЛАВА 12

Часть вторая. «Пруд»

ГЛАВА 13

ГЛАВА 14

ГЛАВА 15

ГЛАВА 16

ГЛАВА 17

ГЛАВА 18

ГЛАВА 19

ГЛАВА 20

ГЛАВА 21

ГЛАВА 22

ГЛАВА 23

ГЛАВА 24

Часть третья. «Тринадцатое»

ГЛАВА 25

ГЛАВА 26

ГЛАВА 27

ГЛАВА 28

ГЛАВА 29

ГЛАВА 30

ГЛАВА 31

ГЛАВА 32

ГЛАВА 33

ГЛАВА 34

ГЛАВА 35

ГЛАВА 36

Часть четвёртая. «Правда»

ГЛАВА 37

ГЛАВА 38

ГЛАВА 39

ГЛАВА 40

ГЛАВА 41

ГЛАВА 42

ЭПИЛОГ

ПРОЛОГ

Российская Империя. Ночь на 13 октября 1891 года.

Она бежала через мокрый сад, и ветки хлестали по лицу, как плети.

Луна пряталась. То выныривала из рваных туч — и тогда всё вокруг вспыхивало мёртвым серебром: липовая аллея, пруд, чёрная кромка камыша; то ныряла обратно — и тьма наваливалась разом, глухая, тёплая, пахнувшая прелой листвой и тиной.

Сад был знаком ей с детства: каждая дорожка, каждая яблоня знали её ногу. Нынче же всё было чужим — словно за ночь деревья переставили, а тропинки свернули не туда. Она бежала на память, на страх, на сердце, которое колотилось где-то в горле и мешало дышать.

За спиной — шаги.

Она не оборачивалась. Нянька учила: коли идёшь ночью от беды — не оглядывайся, беда догонит. Деревенская глупость, которой она, грамотная, никогда не верила. Но губы сами шептали молитву, и от этого не легчало, а становилось страшнее. Будто она уже знала: молитва понадобится.

Подол намок, потяжелел, тянул назад, цеплялся за траву, за крапиву, за собственную тень. Башмаки она скинула ещё на крыльце, шаль оставила на перилах — чтобы не греметь, не цепляться, не оставлять следов. Теперь она жалела об этом: босая нога тонула в холодной жиже, и каждый шаг казался последним.

Впереди — пруд.

Туман стелился над водой низко, как молоко по земле. Вода лежала чёрная и гладкая, и в ней дрожало белое пятно лунного отражения. Где-то у старой ивы, в камышах, должна была ждать лодка. Лодки не было. Она знала, что её не будет, — и всё равно это резануло, как ножом. Кто-то убрал. Кто-то знал.

Кто-то знал всё.

Медальон бился о ключицы — тёплый, единственный тёплый во всей ледяной ночи. Материн. Она не снимала его двенадцать лет. Цепочку советовали сменить — не сменила. Всё, что осталось от матери, не меняют.

— Стойте! — крикнули сзади. Голос срывался, тонул в тумане, но она узнала его — и сердце провалилось куда-то в живот. — Не делайте этого! Прошу вас!

Второй голос молчал. Молчавший был страшнее.

Она побежала. Быстрее — к воде, к чёрной кромке, к камышам. Мир сузился до одного: вода. Ещё десять шагов — и всё кончится. Так или иначе.

И тут медальон рванулся с шеи.

Цепочка лопнула, как гнилая нитка. Медальон упал в траву с мягким стуком. Она споткнулась об эту потерю, упала на колени в холодную грязь — и грязь брызнула на лицо, на руки, на платье.

Сзади — ближе. Очень близко. Дыхание. Своё? Чужое?

Она не стала искать медальон. Не подняла. Встала — и пошла в воду.

Вода обняла щиколотки — ледяная, цепкая, живая. Подол потянул вниз, как якорь. Она вспомнила, что не умеет плавать. Впрочем, плавать и не нужно было: она решила это ещё вчера, когда вырвала из дневника последнюю страницу и спрятала её так, чтобы не нашёл никто. До поры.

Туман разомкнулся. Луна вышла целиком — бледная, немигающая, как чей-то глаз. Вода дошла до пояса. Холод выжал воздух из груди, сжал рёбра, застучал в висках. За спиной — всплеск. Кто-то входил в воду следом.

Она обернулась — наконец-то обернулась, нарушив нянькин запрет, — и увидела лицо, знакомое до боли. То самое, ради которого бежала. И от которого бежала.

— Прости, — сказали сзади. Или ей показалось? Вода шумела, туман съедал голоса. Она шагнула в глубину.

Вода сомкнулась над ней — тёплая вдруг, обманчиво-тёплая, как рука, которая не хватает, а ведёт. Тьма. Тишина. Лёд рванул грудь, но это было уже неважно: в последнюю секунду, перед тем как свет погас, она успела понять всё. Поздно. Но успела.

Наверху, в мокрой траве у старой ивы, остался лежать медальон — маленький, серебряный, ловящий лунный свет. Единственная улика, которую не смоем дождь и не унесёт ветер. Носовой платок из её рукава поплыл к камышам — медленно, как белое пятно на чёрной воде. Утром его найдут — и подумают, что знают, что случилось. Тела не будет. Но об этом — потом.

Усадьба молчала. Дом молчал — впервые за много лет: не скрипели половицы в кабинете, не хлопали ставни, не гудела труба. Словно всё, что жило в нём, вышло вслед за ней и не вернулось.

Пока над чёрной водой стоит туман, в траве у ивы лежит медальон, а луна смотрит на всё с высоты — спокойно, как на давно решённое.

Вода сомкнулась. И впервые за много лет дом замолчал.

— — Часть первая. «Дом»

ГЛАВА 1

Автобус высадил меня на пустой бетонной площадке посреди ничего, и уехал, расплескав по лужам жёлтый свет фар. Было шесть часов вечера, конец сентября, и в этой местности октябрь уже стоял: сырой, серый, пахнувший дымом и мокрой травой.

Я постояла с чемоданом у обочины, глядя, как задние огни автобуса тают в сумерках, и поймала себя на странном чувстве — не страхе и не жалости, а облегчении. Позади остались Москва, мастерская, заказы, знакомые лица. Позади остался Артём. Позади остался год, который я прожила, как спящая: на автомате, в перчатках, не касаясь ничего руками.

Мне тридцать два года. Я реставратор, специалист по бумаге и живописи. Я умею возвращать из небытия выцветшие чернила и потрескавшийся лак — и понятия не имею, как возвращать себя. Поэтому, когда в институте нашёлся контракт на реставрацию семейного архива в имени Морозовых, где-то в средней полосе, я взяла его без раздумий. Контракт был странный: заказчик, фонд с длинным официальным названием, платил щедро, требовал полной тишины и просил не разглашать адрес. Бумаги оказались в порядке. Деньги — на счету. Я собрала чемодан за вечер, как когда-то собирала его, чтобы сбежать на дачу от школьных обид, — и уехала.

В посёлке меня встречала одна-единственная улица, магазин с вывеской «Продукты» и три старухи на лавке, которые посмотрели на мой чемодан так, будто он приехал их уличать. Никто не вышел. Никто не спросил, кто я. Деревня (а это была деревня, хоть и называлась она гордо — посёлок Ключи) смотрела на меня, как на погоду: с недоверием и без любопытства.

— Усадьба? — переспросила продавщица, когда я вошла купить воды. Взгляд у неё был такой, будто я спросила дорогу на Луну. — Ты это... по алее иди, потом направо. Да только не ходи ты туда. Чего тебе там?

— Работа, — сказала я.

— Работа, — повторила она и покачала головой, как качают над неизлечимым.

Дорога к усадьбе начиналась сразу за последним домом, и я узнала её по фотографиям из каталога фонда: липовая аллея. Старая, чудом сохранившаяся, с деревьями в три обхвата, она уходила в гору, как туннель в другое время. Листья облетали, лежали на дороге плотным жёлтым ковром, и под ногами было тихо, по-особенному, как бывает только в местах, где давно не ходили люди. Осень стояла вокруг звенящая, прозрачная, и воздух на вкус был как старый чердак — пыль, яблоки, воск.

Дом я увидела не сразу — он открылся за поворотом аллеи весь, разом, как на ладони.

Двухэтажный, белый когда-то, с колоннами и широким парадным крыльцом, он стоял на взгорке, и от него вниз сбегал газон, когда-то подстриженный, а теперь заросший, с кустами сирени, которые разрослись в настоящие деревья. Часть окон была заколочена досками, часть — просто слепа, с выбитыми стёклами, и ветер гулял внутри, как по пустому сараю. Крыша местами просела. Над парадным входом ещё угадывался медальон с вензелем, и я почему-то не удивилась, прочитав его: «М».

Я стояла и смотрела на этот дом, и внутри у меня было пусто и тихо, как в комнате, где только что остановили часы. Не красиво. Не страшно. Просто — очень, очень старо. И вдруг, без всякой причины, я подумала: а ведь он меня ждал.

От этой мысли я почти засмеялась — я, человек, который верит в химический состав чернил и не верит ни во что сверх того. Но смех застрял в горле, потому что из флигеля, пристроенного сбоку, вышла женщина и пошла ко мне через заросший газон, не спеша, как идут к давно решённому.

Ей было лет семьдесят пять, не меньше: сухонькая, прямая, как палка, седой узел на затылке, тёмный платок на плечах, тёмное платье до щиколоток. В руках — связка ключей, больших, старинных, на железном кольце, и они позвякивали на всю округу.

Она подошла, встала в двух шагах и посмотрела на меня долгим, цепким взглядом — так смотрят на вещь, которую искали и, кажется, нашли. Взгляд у неё был светлый, ясный, совершенно не старушечий.

— Морозова? — спросила она.

Голос у неё оказался низкий, с хрипотцой, и я снова не удивилась. Здесь вообще всё было такое: не удивляющее.

— Александра Морозова, — сказала я и протянула руку. — Из фонда прислали. По контракту.

Она на мою руку посмотрела, но пожатия не приняла. Зато сказала, тихо и отчётливо, как приговор:

— Дождались.

Я опустила руку.

— Простите?

— Дождались, — повторила она и повернулась к дому, будто разговор был окончен. — Идём. Я Вера Петровна, смотрительница. Флигель мой, усадьба моя, ключи мои. Показывать буду, а рассказывать — нечего. Увидишь сама.

Она пошла к крыльцу, и мне ничего не оставалось, как идти следом. Ключи звенели, гравий хрустел, и я впервые за год подумала, что, может быть, это место умеет говорить на языке, который я понимаю: на языке вещей.

Внутри дом был холоднее, чем снаружи, и пахло так, как я и ожидала — старое дерево, воск, пыль, мыши. И ещё чем-то. Чем-то сладковатым, неуловимым, как след духов в пустой комнате. Вера Петровна шла впереди и не оборачивалась, а я смотрела по сторонам и считала про себя: паркет, лепнина, обои в мелкий цветочек, ободранные до холста, печи в белых изразцах, двери с бронзовыми ручками.

— Гостиная, — говорила она на ходу, не останавливаясь. — Танцевальный зал. Парадная столовая. Кабинет хозяйский. Здесь работала ваша... — она запнулась, как будто споткнулась о слово, — ...работали тут.

«Ваша» — так и повисло в воздухе между нами, и я решила, что она хотела сказать «ваша родня». Глупость, конечно: Морозовых в этой стране тысячи, фамилия не редкость. Но слово зацепилось, и я пошла дальше уже не просто смотреть, а прислушиваться.

Комната, которую она назвала кабинетом, оказалась последней в анфиладе: угловая, полукруглая, с окнами на пруд. Окна здесь не были заколочены, и серый вечерний свет лежал на полу длинными квадратами. Мебель под белыми чехлами стояла вдоль стен, как ряд привидений. На столе — письменном, тяжёлом, с зелёным сукном — стояли бронзовые часы с маятником. Мёртвые. Я машинально глянула на циферблат и не разобрала времени: стрелки стояли, и я не стала их разглядывать, потому что увидела то, что увидела.

Над камином, на стене, в тяжёлой потемневшей раме висел портрет.

Портретов в доме было много — я успела заметить их и в гостиной, и в зале: мужчины в мундирах, женщины в кружевах, все строгие, все смотрят в одну точку, как будто на одном и том же суде. Но этот портрет был другой. Меньше. Проще. И женщина на нём была не в кружевах, а в тёмном шерстяном платье, с закрытыми плечами, с гладко зачёсанными тёмными волосами, и на шее у неё — тонкая цепочка с медальоном.

Я подошла ближе. Остановилась. И замерла.

С холста на меня смотрела я.

Не «похожая». Не «в духе». Я. Те же серые глаза, тот же разлёт бровей, та же линия скул, тот же упрямый подбородок, который мама всю жизнь называла «морозовским». Волосы у неё

были убраны иначе, платье — с чужого века, и всё же это было моё лицо, до последней чёрточки, до последней морщинки у губ, которую я считала своей, а она, выходит, была унаследована, как фамилия, как дом, как эта непрошенная дрожь в пальцах.

Я слышала, как за спиной звякнули ключи. Вера Петровна стояла в дверях и смотрела не на портрет, а на меня.

— Узнала, — сказала она. Не спросила. Сказала.

— Кто это? — спросила я, и голос у меня сел.

— А ты как думаешь? — она помолчала, глядя на меня, и впервые за весь вечер улыбнулась — одними глазами, светло и грустно, как улыбаются над тем, что давно решили за других. — Кровь, она своё узнаёт. Хоть через сто лет.

Ключи звякнули снова. Она повернулась и пошла к двери, и уже из коридора донеслось, приглушённо, как будто она говорила не мне, а самому дому:

— Ужинать будешь? Я щи сварила.

А я всё стояла перед портретом, и серый свет умирал за окнами, и лицо на холсте — моё лицо — смотрело на меня спокойно, как смотрят на давно решённое.

Снизу пахло щами. Где-то, очень далеко, в деревне, лаяла собака. В доме было тихо — но не пусто. Ничуть не пусто.

— — ГЛАВА 2

Ночь я провела плохо — не из-за страха, а из-за тишины. Москва приучила меня спать под гул: машины, соседи, трубы. Здесь же тишина была не просто отсутствием звука, а чем-то отдельным, плотным, как вата, в которой вязли и мысли, и дыхание. Я лежала в комнате, которую Вера Петровна определила мне — бывшая девичья, светлая, с двумя окнами во двор, — и слушала, как дом дышит.

Дом дышал. Скрипел, постанывал, перекидывал что-то внутри стен — старые дома всегда так: им холодно, они ворочаются. Я успокаивала себя этим, как считалкой, пока не уснула, и, наверное, впервые за год спала без снов. Или со снами, которые не запомнила, — это одно и то же.

Утром я проснулась от света. Серого, ровного, осеннего — он лежал на полу, как выглаженное бельё, и от него было спокойно. Я умылась ледяной водой из рукомойника (Вера Петровна сказала, что водопровод в доме «не заведён, да и не надо»), оделась и пошла осматриваться, пока хозяйка не пришла кормить.

Дом при дневном свете был не страшнее, чем вчера: просто очень старый и очень усталый. Я шла по анфиладе, заглядывала в комнаты, считала, что потребует реставрации, и постепенно успокаивалась: работа есть, работа ясная, работа по моей части. Запах — тот же: дерево, воск, пыль и тот самый сладковатый след, который я вчера приняла за духи. Сегодня он был слабее, почти незаметный, и я решила, что это от яблок: в кладовке, где пахло сильнее всего, стояли три корзины, полные поздних антоновок, — Вера Петровна собирала их с деревьев, которые росли прямо у стен.

Телефон в доме не работал.

Это я обнаружила, когда хотела сфотографировать лепнину потолка: экран показывал «нет сети». Я вышла на крыльцо — один «палец», на аллее — полтора. Вернулась внутрь — ноль. Как будто дом стоял в глухом колодце, и стены его были не стены, а толща воды.

— У нас тут так, — сказала Вера Петровна, появляясь из-за угла с кринкой молока в руках. Она двигалась бесшумно, я так и не научилась слышать её шаги. — Связь не ловит. Место такое. Бывает, неделями молчит.

— А позвонить откуда-то можно?

— С почты. В деревне. Или с моста — там ловит. — Она посмотрела на мой телефон без злости, но и без уважения, как на бесполезную вещь. — Ты это, завтракай. Потом покажу, где что.

Завтрак был щи вчерашние, хлеб, молоко, яблоки. Я ела и слушала, как Вера Петровна перебирает ключи, — она делала это часто, машинально, как чётки. Ключей было много, на двух кольцах, и когда я спросила, от чего они все, она ответила: «От дома. От всего».

— А эта дверь? — спросила я, кивнув на вторую дверь в конце коридора первого этажа, которую я заметила ещё вчера. Обитая тёмным, потрескавшимся дерматином, с медной ручкой, позеленевшей от времени, она выделялась среди прочих, как иностранец в строю.

Вера Петровна не обернулась.

— Эта не открывается.

— А ключ?

— Нет на неё ключа. — Она помолчала и добавила, будто ставила точку: — Был, да сгинул.

— А что за ней?

— А ты как думаешь? — Она наконец повернулась, и глаза у неё были спокойные, светлые, как вчера. — Комната. Люди жили. Всё, что осталось, — там.

Я не стала давить. Но дверь эту запомнила — и медную ручку, и то, как пыль на полу у порога лежала нетронутым слоем, ровная, как снег.

Кабинет, где вчера я увидела портрет, при свете дня оказался проще и беднее, чем вечером: ободранные обои, пустые полки, стол под зелёным сукном. Портрет висел над камином, и днём я могла рассмотреть его спокойно, без дрожи — и всё же не решалась подойти ближе. Я смотрела на него издали, как смотрят на собственное отражение в чужом зеркале.

Вместо этого я занялась часами.

Бронзовые, тяжёлые, с маятником и гирями, они стояли на каминном столе, и я впервые разглядела их как следует: красивая работа, французские, судя по клейму. Стекло пыльное, циферблат с римскими цифрами, стрелки стоят. Я открыла дверцу, поправила маятник — он качнулся раз-другой и замер, как неживой. Завод кончился сто лет назад, механизм зарос.

Я глянула на циферблат, чтобы записать время остановки — для протокола, для описи. И запнулась.

Стрелки стояли на тринадцати десяти.

Тринадцать десять. Я смотрела на них и перебирала варианты, как чётки: часы остановились в час десять пополудни. Обычное дело. Механизм умер, стрелки встали — так бывает всегда, в этом нет ничего.

Тринадцать десять. Или — если читать по-другому, как дату — тринадцатое октября.

Я достала телефон, чтобы сфотографировать, вспомнила, что сети нет, и вместо этого записала в блокнот: «Часы бронз., кабинет. Стрелки — 13:10. Вероятно, 13.10 — дата остановки».

Блокнот я носила с собой всегда. Карандаш. Это у реставраторов профессиональное: не доверять памяти, доверять бумаге. Потом, перебирая записи, я часто возвращалась к этой строчке — единственной, которая была правдой с самого начала, просто я не умела её читать.

День тянулся ровно и спокойно. Я обошла первый этаж, составила опись, заглянула в кладовку с яблоками, нашла буфетную, битую посуду, связку пожелтевших газет за тысяча девятьсот двенадцатый год. Второй этаж я решила посмотреть после обеда, но Вера Петровна сказала, что лестница «не ходовая» и перекрыта — и действительно, на втором этаже скрипело и шаталось всё, что могло, и я не стала настаивать. В конце концов, архив, за которым я приехала, должен был храниться внизу — по крайней мере, так было написано в контракте.

Всё было бы совершенно обычным, если бы не участковый.

Он появился в четвёртом часу: грузный, лет пятидесяти, в форменной куртке, накинутой поверх домашнего свитера, с лицом человека, который давно со всем смирился. Курил на крыльце, глядя на заросший газон, и представился:

— Павел Иванович. Участковый. Узнал, что у нас тут поселилась. — Он затянулся, помолчал. — Проверить надо. Порядок.

— Я по контракту, — сказала я. — Реставрация архива. Из Москвы.

— Знаю. — Он кивнул, не глядя на меня. — Фонд этот... слышал. Много лет назад тоже один приезжал, из ваших. Архив смотреть. Тоже, говорят, по контракту.

Я ждала продолжения, но он курил и молчал, глядя куда-то в сторону пруда.

— И что? — спросила я. — Остался доволен?

— Да уехал он. Через три дня уехал. — Павел Иванович погасил окурок о перила, убрал в карман, и только потом посмотрел на меня — тяжело, как смотрят на дорогу, которую знают плохой. — А вы, значит, надолго?

— Пока не закончу.

— Ну-ну. — Он помялся. Потом сказал, глядя в сторону: — Вы это... по ночам не ходите тут. Особенно к пруду.

— Почему?

— Грязно там. — Он повёл плечом. — Тина. Топко. Скользко. Ногу сломаете — никто не услышит. Тут у нас тихо, — он усмехнулся, но глаза остались серьёзными, — иногда слишком тихо.

— А что, были случаи? — спросила я осторожно.

Он долго молчал. Докурил, хотя уже погасил, — видимо, машинально. Потом сказал, так же глядя в сторону:

— Давно это было. Ещё до меня, при старом участковом. Дело такое... в усадьбе этой следы находили. Свежие. В пыли. Будто кто ходил, ночью, босиком. От двери к двери. И обратно. А в доме — никого. Ни тогда, ни после. Проверили всё — никого. — Он посмотрел на меня, наконец, в упор, и я увидела в его глазах не страх, а усталость, старую, вьевшуюся, как табачный запах в пальцы. — Дело закрыли. Глупость, сказали. Я и сам так думаю.

— А вы? — спросила я тихо.

— А я, — он помолчал, — думаю, что там по ночам и правда кто-то ходит. Давно ходит. И не один я так думаю.

Он ушёл, не прощаясь, и я осталась на крыльце одна, с его словами, как с холодной водой за воротником. Свежие следы. Босые. От двери к двери.

Я заставила себя не думать об этом. Я реставратор, я верю в состав чернил и в то, что дерево скрипит от перепада влажности. Всё объяснимо. Всё, всегда, объяснимо.

Вечером Вера Петровна снова кормила меня щами, и от этого было тепло и просто, почти домашне. Она не заговаривала ни о следах, ни о портрете, ни о запертой двери, а я не спрашивала. Мы пили чай с антоновкой, и настенные часы в кухне флигеля тикали ровно, как сердце, и мне казалось, что так и надо: чай, яблоки, тиканье, старуха напротив. Что ничего страшного в этом доме нет. Что всё страшное — в Москве, осталось позади, в тех вещах, которые я не взяла с собой.

В одиннадцать я пошла к себе. Комната встретила меня тем же серым покоем, кровать была заправлена по-армейски, на подоконнике стоял стакан с водой. Я легла, погасила свечу (электричества в доме тоже не было, только керосинки и свечи, и Вера Петровна обращалась с ними, как с живыми), и стала слушать дом.

Дом дышал. Скрипел. Постанывал.

Я закрыла глаза. Считала про себя шаги по комнате — один, два, три — и на четвёртом сбилась, потому что наверху скрипнула половица.

Я открыла глаза. Прислушалась.

Тишина. Только ветер где-то в трубе, низкий, ровный. Я выдохнула, закрыла глаза — и снова.

Скрип.

Не такой, как днём: днём дом вздыхал беспорядочно, как старое судно. Это был другой скрип — шагов. Мерных, неторопливых. От двери к двери.

Я лежала, не дыша, и считала. Шаг. Пауза. Шаг. Пауза. Шаг.

Шаги шли по второму этажу — по той самой «не ходовой» лестнице, которую Вера Петровна перекрыла. По комнатам, которые, по её словам, не открывались сто лет.

Шаг. Пауза. Шаг.

Я села на кровати. Свеча была погашена, темнота стояла плотная, как вода, и в ней звук был отчётливее, ближе, будто шаги шли не наверху, а где-то внутри стен, внутри самого дома.

Шаг. Пауза. Шаг.

Они дошли до конца коридора — и остановились.

Тишина повисла такая, что у меня зазвенело в ушах. Я сидела, вцепившись в одеяло, и слышала только собственное сердце, гулкое, как колокол в пустой церкви.

А потом сверху, совсем тихо, как будто кто-то стоял над самой моей комнатой и тоже слушал, — скрипнула половица.

Один раз.

Я не знаю, сколько я так просидела — может, минуту, может, час. Шаги не повторились. Дом дышал ровно, как ни в чём не бывало, и ветер гудел в трубе, и где-то далеко лаяла собака — обычная, деревенская, живая.

Я легла. Закрыла глаза. И всю ночь слушала, как дышит дом, — так и не поняв, одна я в нём или нет.

— — ГЛАВА 3

Утро началось с грачей.

Они кричали за окном так, что звенело в ушах: целая стая облепила старые липы, и голоса их были резкие, горловые, как у спорящих торговков. Я открыла глаза и долго лежала, глядя в потолок, где плясал солнечный зайчик, — и думала, что грачи, наверное, чуют осень раньше людей.

— Варвара Александровна, — голос Агафьи донёсся из-за двери, ровный, как тиканье, — батюшка зовут. К завтраку выходить извольте.

Я села, и комната качнулась, как всегда по утрам: стены в сиреневый цветочек, тяжёлая мебель, зеркало в резной раме, в котором я старалась не смотреться, — там всегда было одно и то же лицо, бледное, с серыми глазами, и я уставала от него раньше, чем начинался день.

— Иду, — сказала я в дверь, и Агафья зашуршала прочь, бесшумная, как тень, хотя тенью она была дородной, широкой, с руками, привыкшими к коромыслу.

Двадцать четыре года, а меня всё ещё будят, как девочку. Впрочем, девочкой я и осталась: девица на выданье, единственная дочь разорившегося рода, украшение дома, которое надлежит выгодно продать, — я знала это с той минуты, как научилась понимать слова. Матушка говорила иначе, мягче, но суть была одна: Морозовы держатся на мне. Дом держится на мне. Долги, векселя, заложенное имение — всё это стояло на моих плечах, как барская шуба на детских.

Одевалась я сама — Агафья только подала платье, тёмно-серое, строгое, с высоким воротом. Кружева я не любила; матушка вздыхала, что я «не по-дворянски проста», а мне казалось, что в кружевах я задыхаюсь. Может, так оно и было: всё, что любила матушка, душило меня.

Завтракали в малой столовой, где окна выходили в сад. Отец сидел во главе стола, как всегда, — прямой, сухой, с сединой в аккуратных бакенбардах, в сюртуке, который помнил лучшие времена и держался на честном слове, как и всё наше имение. Он читал письмо — я видела это по его лицу: письма он разбирал только важные, и всегда так, будто в них сидит враг.

— Варвара, — сказал он, не поднимая глаз, — после завтрака зайди в кабинет. Дело есть.

— Слушаюсь, батюшка.

Я ела кашу, стараясь не спешить, и смотрела в окно на сад: яблони гнулись от плодов, на дорожке ворошили листья грачи, и всё было так обыкновенно, так по-домашнему — что от этого было страшно. Когда отец говорит «дело есть» таким голосом, обыкновенным ничего не остаётся.

В кабинете пахло табаком, пылью и старыми бумагами — запах, который я знала с детства: запах отцовских забот. Он сидел за столом, перед ним лежало письмо, распечатанное, на плотной гербовой бумаге, и пальцы его лежали на нём, как на карте сражения.

— Садись, — сказал он.

Я села. Между нами на столе лежало письмо, и я вдруг поняла, что не хочу знать, что в нём, — так, как не хочешь знать диагноз, когда врач ещё держит его в руках.

— Мне пишет Сергей Ильич Березин, — сказал отец. — Ты его знаешь.

Я знала. Березин — богатый, немолодой, вдовый, с именем, которое произносили в губернии с уважением и с опаской: у него были заводы, лес, деньги, которых не было у нас. Я видела его один раз, на ярмарке, — тяжёлый, седой, с глазами, которые смотрели на вещи и на людей одинаково, как на вещи.

— Он делает тебе предложение, — продолжал отец, и голос его был ровный, как доска, на которой пишут. — Венчание — в ноябре, после Покрова. С приданым он не торгуется: за тобой — дом и земля, за ним — деньги. Векселя он берёт на себя. Имение остаётся за нами.

Он замолчал, и тишина в кабинете стала такая, что было слышно, как на столе тикают часы. Час дня. Тринадцать десять. Я почему-то запомнила это на всю жизнь — и часы эти, бронзовые, с маятником, и стрелки, которые стояли ровно, хотя часы шли: их не заводили с той минуты, как умерла матушка.

— Варвара, — сказал отец, и в голосе его впервые за утро появилось что-то живое — или мне показалось. — Я знаю, что ты... — Он не договорил. Помолчал. — Березин человек серьёзный. Тебе будет хорошо.

— Батюшка.

— Не перебивай.

Я замолчала. Смотрела на его пальцы — жёлтые от табака, с печаткой, которая тоже помнила лучшие времена, — и думала: он ведь не злой. Он не изверг. Он просто устал держать на плечах то, что давно рухнуло, и я — его последняя опора, и он продаёт меня, как продают последнюю рощу на сруб, — не потому что жадный, а потому что больше нечем.

— Свадьба назначена, — сказал отец, глядя мне в глаза, впервые за всё утро. — Отказ невозможен. Я прошу тебя, Варвара, не делать глупостей.

— Каких глупостей, батюшка?

— Ты знаешь, каких.

Он взял письмо, сложил его, спрятал в ящик стола, и я поняла: это не обсуждается. Меня продали, цена устроила обе стороны, остальное — моё «да», которое никто не собирался спрашивать.

Я вышла из кабинета и шла по коридору, и стены качались, и я думала: вот и всё. Вот и вся жизнь, которую я так берегла, — она кончилась за одно утро, за один разговор, за один лист гербовой бумаги.

В сад я вышла, сама не помня как. Ноги вынесли: через двор, мимо флигеля, мимо кухни, где пахло хлебом и луком, — туда, к липовой аллее, которая спускалась к пруду. Осень стояла сухая и светлая, листья падали, кружились, и я шла по ним, как по воде, — и не плакала. Плакать я разучилась давно: слёзы у нас в роду считались роскошью.

Пруд лежал внизу, серый, зеркальный, в оправе камышей. Туман над ним стоял даже в полдень — тонкий, белый, как пар над чашкой. Я остановилась на берегу, у старой ивы, и смотрела на воду, и думала, что вода — единственное, что не врёт: что в ней отражается, то и есть.

— Варвара Александровна, — сказали сзади.

Я вздрогнула. Обернулась.

На тропинке, в двух шагах, стоял человек, которого я никогда не видела: молодой, лет тридцати, в простом суконном сюртуке, с лицом, которое запоминалось с первого взгляда — не красотой, а тем, что оно было живое: тёмные глаза, резкие скулы, руки, лежащие на трости, — натруженные руки, не барские.

— Простите, что напугал, — сказал он и поклонился, легко, без угодливости. — Я к вашему батюшке, по делу. Сказали, он в усадьбе. А тут — вы.

— Я Варвара Александровна, — сказала я и сама удивилась, что голос у меня ровный. — Вы к батюшке? Тогда вам по аллее, мимо флигеля, вход со двора.

— Благодарю. — Он не уходил. Смотрел на меня, и взгляд у него был прямой, без той привычной скользкости, с которой дворяне смотрят на женщин, — как на равную. — Николай Фёдорович Бережков, — сказал он. — Управляющий у вашего соседа, Сушкова. По делам о лесе заезжал. — Он помолчал и добавил, чуть тише: — А вы, я вижу, к воде вышли. Пруд у вас... красивый.

— Туманный, — сказала я. — Пруд туманный.

— Туманный, — повторил он, как будто пробуя слово на вкус. — И это хорошо. Туман — он всё прячет. А иногда — показывает.

Я не поняла, что он хотел сказать, — и поняла, что не хочу уходить, пока не пойму. Так, наверное, и начинается всё, что потом называют судьбой: не с грозы, а с простого разговора у воды, в котором одно слово — «туманный» — вдруг оказывается важнее всех слов, сказанных до него.

— Вы надолго в наших краях, Николай Фёдорович? — спросила я, и это было уже дерзостью: девице не подобает расспрашивать незнакомого мужчину. Но он ответил просто, без игры:

— Насколько дело позволит. Дело у Сушкова большое: лес на сплав готовят. А после — как распорядится хозяин. Я человек подневольный.

— И я, — сказала я и сама не поняла, зачем это сказала. — Я тоже человек подневольный.

Он посмотрел на меня долго, и что-то в его лице дрогнуло, как будто он услышал не то, что я сказала, а то, что я не сказала.

— Тогда, — сказал он тихо, — я, пожалуй, задержусь в наших краях. Сколько смогу.

Солнце пробило туман, и вода вспыхнула, и на миг мне показалось, что пруд не серый, а золотой, и что осень — не конец, а начало, и что всё ещё можно повернуть, — всё, что сказано за этим столом, всё, что решено за меня, — всё.

Мы простились. Он пошёл по аллее к дому, я осталась у воды, и грачи кричали над липами, и листья падали, и я стояла и смотрела на пруд, и думала — впервые за долгое время — не о том, что будет, а о том, что могло бы быть.

Вечером я сидела у окна в своей комнате, и Агафья расчёсывала мне волосы, и я молчала, и она молчала, и наконец она сказала, не спрашивая:

— Слышала я, барышня, что у вас новость.

— Слышала, значит.

— Слышала. — Она помолчала, и гребень в её руках на миг замер. — Только вы, барышня, не печальтесь. Всё образуется.

— Всё образуется, — повторила я, как эхо. — Агафья, ты же знаешь, что ничего не образуется. Что свадьба — в ноябре, и отказ невозможен, и...

Я не договорила. В окне, за стеклом, темнел сад, и в темноте, у калитки, на миг мелькнула тень — высокая, знакомая, — и пропала. Или мне показалось. Я не знала, показалось ли мне.

Агафья молчала. Только гребень ходил по волосам, ровно, как ходят часы, — и я сидела, глядя в темноту за окном, и думала о человеке, который сказал, что задержится в наших краях, сколько сможет.

Позже, когда Агафья ушла, я достала дневник — толстую тетрадь в тёмном переплёте, запертую на ключик, который я прятала в корсете, — и писала долго, и чернила ложились ровно, и буквы выходили спокойные, а руки дрожали.

«Нынче утром батюшка объявил мне, что я просватана за Березина. Свадьба в ноябре. Отказ невозможен — так он сказал, и я не нашла в себе сил спорить. А у пруда я встретила человека, которого никогда не видела, и он сказал, что туман всё прячет, а иногда показывает. И мне показалось, что он показал мне что-то, чего я не знала о себе.

Если не выйдет — я знаю, что сделаю».

Я заперла дневник, спрятала ключик в корсет и долго сидела в темноте, глядя на тёмное окно, в котором не отражалось ничего, кроме меня.

— — ГЛАВА 4

Я проснулась от того, что во сне искала что-то в мокрой траве.

Сон был короткий и плотный, как выдох: луна, чёрная вода, старая ива, склонившаяся над прудом, и в траве, в росе, — маленькая серебряная вещица, круглая, на обрывке цепочки. Я нагнулась, чтобы поднять её, — и проснулась, и рука моя всё ещё была сжата в кулак, будто держала находку.

Пусто. В кулаке — ничего.

Я лежала, глядя в потолок, и разозлилась на себя: ну конечно, сон. Портрет вчера, медальон на нём, цепочка тонкая, на шее у женщины, — мозг и смастерил мне картинку, а я, взрослый человек, реставратор с десятью годами практики, лежу и сжимаю кулак, как девочка, которой приснился клад.

— Глупость, — сказала я вслух, и голос в пустой комнате прозвучал бодрее, чем я себя чувствовала.

За окном лежало серое утро, ровное, как простыня. Дом молчал — не дышал, а именно молчал, настороженно, как будто прислушивался вместе со мной. Я оделась, умылась ледяной водой и пошла вниз, где Вера Петровна уже гремела посудой во флигеле.

За завтраком я спросила про шаги.

— Вера Петровна, тут ночью наверху кто-то ходил. На втором этаже.

Она не обернулась. Резала хлеб, и нож ходил ровно, как маятник.

— Дом старый, — сказала она. — Скрипит.

— Это были шаги. Мерные. От двери к двери.

— Дом, — повторила она и, помолчав, добавила, глядя в окно: — Всё, что слышишь в этом доме, — дом. Ты это запомни, милая. Всё, что видишь, — дом. И всё, что тебе кажется, — тоже дом.

Я хотела спросить, что это значит, но она уже ушла за молоком, и вопрос повис в воздухе, как дым, который некому разогнать.

Работа ждала.

Архив, ради которого я приехала, хранился в двух дубовых сундуках и шкафу в буфетной — комнате, которую Вера Петровна отперла с третьей попытки, подобрав ключ, и оставила меня одну, сказав: «Тут не трогай, тут трогай, что написано — то и читай. Ты грамотная, разберёшься».

Я разобралась. Бумаг было много: письма, счета, купчие, описи, метрики, какие-то черновики — век, аккуратно уложенный в стопки, как слоёный пирог. Пахло от него пылью, воском и чем-то сладким — тем самым запахом, который я утром списала на яблоки. Здесь он был сильнее, и я наконец поняла: так пахнут старые чернила, гниющий желатин и бумага, которую держали в руках много, много раз. Запах, который я знала по работе: запах жизни, которую кто-то прожил и уложил в стопки.

Я достала блокнот, карандаш, надела перчатки — и через полчаса уже не слышала ни дома, ни тишины, ни шагов. Была только бумага, и я, и моя работа, единственное, что я умела по-настоящему: возвращать чужим словам их смысл.

К обеду я разобрала верхний слой. Нашла счета за тысяча восемьсот девяностый год, квитанции на зерно, переписку с опекунами, жалобу на соседа о потраве лугов — всё то, чем живёт разоряющееся имение. Нашла письма, адресованные «Варваре Александровне», — два, оба от подруги, из Петербурга, полные новостей о балах и театрах, и читала их, и слышала между строк другое: как скучно, как пусто, как тесно человеку, которого держат в доме, как цветок в горшке.

В третьем часу за окном скрипнула калитка. Я подняла голову — по аллее, с папкой под мышкой, шёл мужчина.

Лет тридцати восьми, невысокий, крепкий, с аккуратной бородой и очками в тонкой оправе, в потёртом твидовом пиджаке, который видел лучшие времена и не стеснялся этого. Он шёл не спеша, как ходят по знакомой дороге, и я почему-то сразу поняла: это не турист и не случайный человек. Он шёл к дому, как к себе.

— Здравствуйте, — сказал он с крыльца, когда я вышла. Голос у него оказался тёплый, чуть смущённый, и он смотрел на меня, а не сквозь меня, и от этого почему-то было спокойно. — Я Дмитрий Соколов. Заведую краеведческим музеем, это у нас в Ключах, на улице Советской. Вы, наверное, Александра Морозова? Реставратор?

— Откуда вы знаете?

— Вера Петровна сказала. — Он улыбнулся, и улыбка у него была простая, открытая. — Она у нас главный источник новостей. Сказала, что приехала Морозова, по контракту, архив разбирать. А у меня в музее — копии некоторых документов по усадьбе. Думал, может, пригодятся. И вообще... — он запнулся, — я эту усадьбу всю жизнь изучаю. Неопубликованная монография, — добавил он и слегка покраснел, как будто признался в чём-то стыдном. — Если что-то понадобится — спрашивайте. Я много чего знаю.

— Много чего? — переспросила я.

— Много, — сказал он просто. — Только не всё.

Так началось наше знакомство — просто, по-человечески, без той тревожной зоркости, с которой на меня смотрела Вера Петровна, и без той тёмной игры, которую я уже успела вообразить в этом доме. Дмитрий пил чай, который Вера Петровна поставила перед ним без слов, рассказывал о музее, о копиях, о методе работы с выцветшими чернилами — и в его словах была та же любовь к документам, что и во мне, и я впервые за долгое время разговаривала с человеком, который понимает, почему от старой бумаги щемит сердце.

Он знал о доме много. Очень много. Он рассказал, что усадьба Морозовых — одна из немногих в губернии, что уцелела целиком: и дом, и флигель, и часовня, и склеп за прудом. Что последний владелец, правнук основателя, уехал после революции и не вернулся. Что фонд, от которого я получила контракт, выкупил усадьбу у государства лет пять назад и держит её «под реставрацию», но никто так и не приехал — до меня.

— До вас тут один был, из ваших, — сказал он. — Лет десять назад. Тоже архив. Три дня пробыл и уехал. Сказал, что бумаги не те. Что архива по сути нет.

— А он есть? — спросила я.

Дмитрий посмотрел на меня, потом на буфетную, где лежал мой сундук со счетами и письмами.

— Есть, — сказал он. — Только он его не нашёл.

— А вы знаете, где он?

Он помолчал. Отхлебнул чай. И сказал — мягко, но я почувствовала, как под мягкостью что-то шевельнулось:

— Я знаю, где его нет. Это я знаю точно.

Я не стала допытываться. Но слова его легли в блокнот, на отдельную страницу, и я смотрела на них весь вечер, как на карту с крестиком, которого не видно.

Дмитрий ушёл в шестом часу, оставив мне папку с копиями: планы усадьбы, выписки из метрических книг, копия купчей тысяча восемьсот шестьдесят третьего года. На прощание он посмотрел на портрет над камином — я заметила, что смотрел он на него так, будто видел в сотый раз, — и сказал негромко:

— Варвара Александровна Морозова. Последняя из старшей ветви рода. Дочь владельца. Просватана была в ноябре восемьсот девяносто первого — а погибла тринадцатого октября того же года. Утонула в пруду. Так написано в летописи церкви.

Он помолчал, глядя на портрет, и добавил:

— Только в летописи церкви ещё написано, что тело её не нашли. Так что, как говорится... — он улыбнулся, но глаза остались серьёзными, — покойся с миром, а не нашли.

Он ушёл, а я стояла перед портретом, и женщина на холсте смотрела на меня своими — моими — глазами, и я впервые знала её имя.

Варвара.

Моя прапрабабушка. Утонула тринадцатого октября. Тела не нашли. Часы в кабинете стояли на тринадцати десяти.

Я заставила себя не считать. Я реставратор, я верю в состав чернил, я не считаю совпадения — они ничего не значат, совпадений полно, мир стоит на совпадениях. Я села за сундук и стала разбирать нижний слой — там, где бумаги лежали плотнее, тяжелее, темнее, — и через час, когда за окном уже стемнело, а я зажгла керосинку, я нашла её.

Опись. «Опись вещей, пропавших из дому в ночь с тринадцатого на четырнадцатое октября тысяча восемьсот девяносто первого года». Писана канцелярским почерком, с пометками на полях, с гербовой печатью.

Я читала и не дышала. Вещи были обычные: платье, башмаки, шаль, гребень, книга, письма — вещи, которые исчезают вместе с человеком. Но в конце списка, отдельной строкой, с пометкой на полях «так и не сыскано», стояло:

«Медальон серебряный, овальный, на цепочке. С гравировкой на внутренней стороне. Пропал вместе с...»

Дальше шло слово, зачёркнутое так густо, что я прочитала его только через лупу, по вдавившимся в бумагу буквам. Я навела стекло, повернула лист к свету керосинки — и прочитала.

«Пропал вместе с хозяйкой».

Я сидела в тишине, и керосинка шипела, и бумага в руках была холодная, как лёд, и я смотрела на строку про медальон — серебряный, овальный, на цепочке, — и вспоминала сон: луна, чёрная вода, ива, мокрая трава, и в траве — маленькая серебряная вещица, круглая, на обрывке цепочки.

Та самая. Я знала, что это та самая. Не знаю, откуда я это знала, — но знала, как знают, что вода мокрая, а огонь жжёт.

Всю ночь мне снился пруд. И я шла по мокрой траве, и луна была, и ива была, и медальон лежал в росе, тёплый, как живой, — и я нагибалась за ним, и не могла дотянуться, и что-то звало меня из чёрной воды, и я просыпалась с бьющимся сердцем, и в кулаке у меня снова было пусто.

Только под утро, когда дом начал дышать ровно, а за окном засерело небо, я поняла, что хочу найти его. Не из любопытства. Не из профессионального азарта.

А потому что во сне он лежал в траве у пруда — и мне казалось, что если я его найду, то пойму всё.

Только я ещё не знала — пойму ли я это вовремя.

— — ГЛАВА 5

Аллея была одна и та же. Вековые липы стояли в два ряда, и осень стояла в них, как вода в реке, — золотая, глубокая, медленная. Листья падали беззвучно, кружились, ложились на дорожку плотным ковром, и под ногами было тихо, по-особенному, как бывает только в местах, где много ходили и давно не ходят.

По аллее шли две женщины. Одна — в тёмно-сером платье с высоким воротом, в шали, накинутой на плечи, с тяжёлыми тёмными волосами, убранными в узел. Другая — в куртке с капюшоном, с руками в карманах, с тёмными волосами, собранными в небрежный хвост. Их разделяло сто двадцать шесть лет, но походка у них была одинаковая: ровная, упрямая, голова чуть наклонена вперёд, как будто каждая из них шла против ветра — или навстречу чему-то, чего ещё не видела.

Варвара шла к пруду. Она не хотела идти к пруду, но ноги сами вынесли её из дома, мимо флигеля, мимо кухни, туда, где за липами лежала серая вода. Дома было нечем дышать: после разговора с отцом воздух в комнатах стал густой, как кисель, и она искала, где дышится, и нашла только здесь.

Саша шла к деревне. Ей нужно было позвонить: сказать в фонд, что она на месте, что работа началась, что всё в порядке. Телефон лежал в кармане, мёртвый, без сети, — но на мосту, говорили, ловит, и она шла к мосту, и думала о медальоне, и о женщине на портрете, и о том, что совпадения — это просто совпадения.

Листья падали. Аллея дышала.

И тогда они слышали шаги.

Позади. Ровные, неторопливые, в такт — как будто кто-то шёл за ними давно, с самого начала аллеи, просто они не слышали, пока не стало поздно.

Варвара остановилась. Сердце у неё упало куда-то в живот, и она обернулась — быстро, резко, как оборачиваются от внезапной боли.

Аллея была пуста. Листья падали, кружились, ложились на дорожку — и на дорожке, насколько хватало глаз, не было никого. Только липы, только золото, только тишина, которая стояла, как будто её ударили и она не успела опомниться.

Шаги не повторились.

Саша остановилась. Сердце у неё стукнуло один раз — сильно, как кулаком по столу, — и она обернулась, быстро, резко, как оборачиваются от внезапного холода.

Аллея была пуста. Листья падали, кружились, ложились на дорожку — и на дорожке, насколько хватало глаз, не было никого. Только липы, только золото, только тишина, которая стояла, как будто её ударили и она не успела опомниться.

Шаги не повторились.

Варвара постояла, глядя в пустоту аллеи, и сказала себе: это лист упал с дерева, это ветка скрипнула, это ветер. Ветер в липах всегда шумит — так шумит вода, так шумит время. Она поправила шаль и пошла дальше, к пруду, — и всё время, пока шла, ей казалось, что кто-то идёт за ней в такт, шаг в шаг, и что если она остановится, остановится и он.

Она не остановилась.

Саша постояла, глядя в пустоту аллеи, и сказала себе: это лист упал с дерева, это ветка скрипнула, это ветер. Ветер в липах всегда шумит — так шумит вода, так шумит время. Она застегнула куртку и пошла дальше, к мосту, — и всё время, пока шла, ей казалось, что кто-то идёт за ней в такт, шаг в шаг, и что если она остановится, остановится и он.

Она не остановилась.

И тогда произошло то, что не должно было произойти.

Варвара слышала за спиной звук, которого не знала: низкий, ровный, гудящий, как будто где-то далеко-далеко работала огромная неведомая машина — не мельница, не паровая молотилка, а что-то другое, чужое, из другого мира. Гул шёл откуда-то сверху, из-за лип, из-за туч, и Варвара замерла, и подняла голову, и посмотрела в небо — но небо было чистое, золотое, осеннее, и в нём ничего не было.

Гул затих.

Саша слышала за спиной звук, которого не знала: лёгкий, шёлковый, шуршащий, как будто кто-то в тяжёлом платье с шлейфом прошёл по сухой траве — медленно, степенно, как ходят в старых домах по паркету. Шорох был такой близкий, что она почувствовала ветерок на щеке, — и обернулась, мгновенно, всем телом.

Аллея была пуста. Листья падали, кружились, ложились на дорожку.

Варвара не обернулась. Она стояла, глядя в небо, и чувствовала, как по спине бежит холод — не осенний, не ветряной, а другой, изнутри, как будто в груди открылась дверь, которой там не было. Она поправила шаль, поплотнее, и пошла дальше, к пруду. И всю дорогу думала о том, что шаги, которые шли за ней, — они никуда не делись. Они просто ждали, когда она перестанет слушать.

Саша не обернулась. Она стояла, глядя в пустоту аллеи, и чувствовала, как по спине бежит холод — не осенний, не ветряной, а другой, изнутри, как будто в груди открылась дверь, которой там не было. Она застегнула куртку, поплотнее, и пошла дальше, к мосту. И всю дорогу думала о том, что шаги, которые шли за ней, — они никуда не делись. Они просто ждали, когда она перестанет слушать.

Она перестала слушать.

Они не перестали идти.

Липы стояли в два ряда, и осень стояла в них, как вода в реке, — золотая, глубокая, медленная. Листья падали беззвучно, кружились, ложились на дорожку плотным ковром. По аллее шли две женщины, и между ними было сто двадцать шесть лет, и шаг у них был один на двоих, и за каждой из них, в такт, шаг в шаг, шёл кто-то третий — тот, кого нельзя увидеть, а можно только услышать.

Или не услышать.

Аллея молчала. Аллея ждала. Аллея знала: когда-нибудь по ней пройдут обе сразу — и тогда шаги догонят.

— — ГЛАВА 6

Машину я слышала за полкилометра.

Звук был не деревенский: не «буханка», не трактор, а ровный, сытый, дорогой гул, который в этих местах звучал как иностранная речь. Я подняла голову от сундука — и через окно увидела, как по аллее, медленно, как по ковровой дорожке, катит чёрный внедорожник с московскими номерами. Листья разлетались из-под колёс, как брызги.

Он остановился у крыльца. Дверь открылась — и из машины вышел человек, который в этой усадьбе смотрелся так же естественно, как павлин в курятнике, и от этого почему-то ещё опаснее.

Высокий, худощавый, лет тридцати пяти-тридцати семи. Резкие черты лица, тёмные волосы, тёмные глаза, которые, как говорят в романах, «смотрят насквозь», — и я, читавшая эти романы с усмешкой, впервые поняла, что это не метафора. Он посмотрел на меня — и я почувствовала себя не то чтобы раздетой, а скорее прочитанной. Быстро, целиком, как читают оглавление.

Одет он был дорого и небрежно одновременно: тёмное пальто без единой пылинки, шарф, повязанный так, как будто он его не повязывал, а набросил — и забыл. В руке — тонкий портфель. Он обошёл машину, посмотрел на дом — долго, как смотрят на человека, которого давно хотели увидеть, — и только потом перевёл взгляд на меня.

— Александра Морозова? — сказал он. Голос низкий, ровный, с той лёгкой хрипотцой, которая бывает у людей, много курящих или много молчащих.

— Допустим. А вы?

— Андрей Волков. — Он подошёл, и я машинально отметила: походка мягкая, как у кота, идёт не по гравию, а по поверхности. — Оценщик антиквариата. Фонд отправил меня осмотреть движимое имущество усадьбы перед началом реставрации. Нужна опись того, что осталось, и того, что стоит денег. — Он остановился в двух шагах и улыбнулся одними глазами. — А вы, значит, то, что не стоит денег, но стоит всей жизни.

— Вы про архив? — сказала я.

— Я про всё, — сказал он. — Но начать можно с архива.

Я не знала, как это понимать, и решила не понимать. Я слишком давно работала с людьми, которые говорят вполоборота, чтобы вестись на первую красивую фразу. Но что-то во мне — какая-то старая, глупая, давно не тренированная часть — отозвалось на его улыбку, как струна на чужой палец.

— Показывайте, что у вас тут, — сказал он и пошёл к крыльцу без приглашения, как будто дом его.

Он осматривал усадьбу быстро и цепко: прошёл анфиладу, заглянул в буфетную, где лежали мои сундуки, провёл пальцем по пыльной полке, посмотрел на палец, усмехнулся. В гостиной остановился перед заколоченным окном, постоял, глядя на доски, и сказал негромко, будто себе:

— Заколочено. А заколачивают то, что хотят забыть. Или то, что не хочет выходить.

— Или то, что выбито, — сказала я. — Стекла просто нет.

— Выбито, — повторил он, и что-то в его голосе мне не понравилось. — Стекла нет. Конечно. Всегда проще сказать, что стекла нет.

В кабинете, где висел портрет, он остановился как вкопанный.

Я смотрела на него и видела, как меняется его лицо: игра ушла, осталась одна серьёзность — и что-то ещё, чему я не сразу нашла имя. Не злость. Не радость. Скорее узнавание — такое, с каким смотрят на человека, которого встречали в другой жизни.

— Варвара Александровна, — сказал он тихо. — Узнал по описанию. Красивая женщина. Всегда хотел узнать, что с ней случилось на самом деле.

— Она утонула, — сказала я. — В пруду. Тринадцатого октября девяносто первого года.

— Утонула. — Он помолчал, глядя на портрет, и я услышала в его голосе что-то, от чего по спине пробежал холод — не от слов, а от того, как они были сказаны: — Конечно. В этой семье все утонули.

Я хотела спросить, что это значит, но он уже отвернулся от портрета и смотрел на меня, и во взгляде его снова была игра — и что-то ещё, тёплое и опасное одновременно, как огонь в камине, к которому тянет руки, хотя знаешь, что обожжёшься.

— А вы, — сказал он, — на неё очень похожи. Вы знаете?

— Мне говорили.

— Говорили? — Он усмехнулся. — Вам говорили слова. А я вижу. У вас её глаза. И её подбородок. Упрямый, морозовский. Это у вас наследственное.

— Морозовых в России много, — сказала я. — Фамилия не редкость.

— Морозовых много, — согласился он. — А вот таких глаз — нет. Вы же знаете, чья вы. Знали ещё до того, как увидели портрет. Иначе зачем бы вы взяли этот контракт — такой странный, такой щедрый, с такой просьбой не разглашать адрес?

Я молчала. Потому что он был прав, и я не могла объяснить себе, как он это понял, — но он понял. Я взяла этот контракт, потому что фамилия в документах царапнула меня. Потому что, подписывая бумаги, я поймала себя на мысли, которую стыдно было признать даже себе: «А вдруг это то самое место?»

— У вас, — продолжал он, и голос его стал тише, — у вас, Морозовых, кровь, которая сама себя узнаёт. Это я знаю точно. — Он помолчал. — И память у вас хорошая. Надеюсь, она вас не подведёт.

— К чему вы клоните?

— Ни к чему, — сказал он мягко. — Просто осматриваю. Оцениваю. — Он оглядел кабинет, портрет, часы на камине. — Часы стоячие. Интересные. Французские, кажется? Когда остановились?

— Не знаю. Я их не заводила.

— И не надо, — сказал он. — Некоторые вещи лучше не трогать.

Из-за двери послышались шаги — тяжёлые, знакомые. Дмитрий.

Он вошёл в кабинет, увидел Андрея — и остановился, и лицо у него, тёплое и открытое ещё секунду назад, закрылось, как ставня.

— Вы? — сказал он.

— Я, — сказал Андрей. — Давно не виделись, Дмитрий Соколов.

— Надеюсь, что надолго, — сказал Дмитрий, и я впервые услышала в его мягком голосе сталь.

Они стояли друг против друга, и между ними висело что-то, чему я не знала названия, но что явно было старше меня. Потом Дмитрий перевёл взгляд на меня, и лицо его смягчилось, но тревога из глаз не ушла.

— Я принёс вам книгу, — сказал он, протягивая мне свёрток. — По истории усадьбы. Там есть описи конца века, может пригодиться.

— Спасибо, — сказала я.

— Я провожу вас, — сказал он Андрею, и это прозвучало не как предложение, а как приговор. — Вам, кажется, пора.

— Мне? — Андрей поднял бровь. — Я, кажется, ещё не закончил осмотр. Мне бы хотелось посмотреть буфетную. И комнату за той дверью в конце коридора. — Он кивнул в сторону запертой двери. — Мне сказали, она не открывается.

— Она не открывается, — подтвердил Дмитрий. — Ключа нет сто лет.

— Сто лет? — Андрей усмехнулся. — Забавно. А мне казалось, я видел ключи у смотрительницы. Два кольца, на одном — маленький, тёмный, с бородкой на две стороны. Похоже, от той двери.

Дмитрий молчал. И в этом молчании было столько всего, что я перестала дышать.

— Вы осмотрели дом, — сказал Дмитрий наконец, ровно. — Всё, что можно осмотреть. Вам пора.

— Пожалуй, — сказал Андрей легко. — Но я вернусь. У меня работа — оценить всё, что здесь есть. А здесь есть кое-что... — он оглянулся на портрет, на меня, на часы, — ...кое-что очень ценное. Я вернусь.

Он вышел. Дмитрий постоял, глядя ему вслед, потом повернулся ко мне — и я увидела, как он собирается с силами, чтобы сказать то, что говорить не хочет.

— Александра, — сказал он. — Я не знаю, кто он на самом деле. Но он не оценщик. Оценщики так не смотрят на дома. И так не знают, у кого какие ключи.

— А вы откуда знаете, как смотрят оценщики? — спросила я.

Он не ответил. И это было второе молчание за вечер, о которое я споткнулась.

Я вышла на крыльцо — воздух был сырой, пахло листвой и дымом. Чёрная машина стояла у калитки, и Андрей стоял у неё, спиной ко мне, глядя на пруд. Он обернулся на звук моих шагов — и я увидела, что лицо его изменилось: игра ушла совсем, и под ней было что-то старое, усталое, почти ранимое.

— Александра, — сказал он, и впервые за весь вечер обратился ко мне без игры. — Вы читали опись пропавших вещей. Ту, что нашли вчера в нижнем слое.

У меня внутри всё замерло. Опись я никому не показывала. Я не сказала о ней ни Дмитрию, ни Вере Петровне. Она лежала в моём блокноте, между страницами, — и я была одна в буфетной, когда нашла её.

— Откуда вы знаете? — спросила я, и голос у меня сел.

— Бумаги ходят, — сказал он. — В этом доме бумаги всегда ходили. — Он помолчал, глядя на меня, и тёмные глаза его были совершенно серьёзны. — Там, в конце описи, медальон. Серебряный, овальный, на цепочке. С гравировкой на внутренней стороне.

Я молчала. Я не могла говорить: у меня пересохло в горле, потому что он называл по одному слова из описи — слово в слово, будто читал её сам.

— На гравировке, — сказал он, — два имени. И одно из них — не то, что вы думаете. — Он открыл дверь машины, сел, и уже из-за руля, глядя на меня через стекло, добавил тихо: — Когда найдёте его — не отдавайте никому. Особенно мне.

Он завёл двигатель. Чёрная машина медленно покатилась по аллее, листья разлетались из-под колёс, как брызги, — и я стояла на крыльце, и в руках у меня был блокнот, в котором между страницами лежала копия описи, и я смотрела на неё, и читала строку про медальон — серебряный, овальный, на цепочке, с гравировкой на внутренней стороне, — и не понимала, откуда он мог знать.

Два имени, сказал он. В описи про два имени не было ни слова.

Я подняла глаза. Чёрной машины уже не было видно — только листья кружились над аллеей, медленно, как над водой, и дом за моей спиной стоял тихо, и мне казалось — я слышу, как он слушает. Как будто дом знал ответ на мой вопрос и ждал, когда я догадаюсь спросить правильно.

Я спросила у блокнота. Блокнот молчал.

Два имени. Одно из них — не то, что я думаю.

Я ещё не знала тогда, что медальон, который я видела во сне, — это только половина. Что есть второй — парный, — и что имена на них написаны такие, что перевернут всё, что я думала о своей семье. Но я уже начала понимать: я приехала в этот дом не для того, чтобы реставрировать архив.

Я приехала, чтобы вынуть из него правду. И кто-то — я ещё не знала, кто, — ждал этого так же, как я.

— — ГЛАВА 7

Записка пришла через три дня после встречи у пруда.

Я полола грядки в саду — вернее, делала вид, что поляю, а сама смотрела на калитку, которую увидела бы из любого угла сада, хоть с закрытыми глазами, — когда Агафья вышла из кухни с корзиной белья. Подошла, встала рядом, будто помогая, и я почувствовала, как что-то холодное скользнуло мне в рукав.

— Не гляди, барышня, — сказала она шёпотом, перебирая бельё. — Бери, да не при отце. Поняла?

— Поняла.

Она ушла к колодцу, гремя коромыслом, а я ещё долго стояла над грядкой, сжимая в рукаве сложенную бумажку, и сердце у меня стучало так, что я боялась — услышат на том конце сада.

Дневник я открыла только у себя, запершись, присев к окну спиной к двери. Бумажка была мятая, в дорожной пыли, писана карандашом, торопливо, но почерк был твёрдый, без дрожи — почерк человека, который решился и не собирается отступить.

«Варвара Александровна. Я приду к пруду в ночь с двенадцатого на тринадцатое октября. Лодка будет у старой ивы, лошади — у мельницы за оврагом, до станции полторы версты, на рассвете отходит поезд до Москвы. Деньги у меня есть, дело в Москве — тоже: контора господина Лапина ждёт меня на место управляющего. Будет трудно, будет стыдно, будет страшно — но будет жизнь, и будет она наша, а не чужая.

Если вы не придёте — я пойму. И уеду один, и буду жить, как живут, — но до конца дней буду помнить, что вы стояли у воды и слушали, как я говорю про туман.

Н. Бережков».

Я перечитала записку три раза. На четвёртом — сложила, спрятала в корсет, рядом с ключиком от дневника, и долго сидела, глядя в окно на сад, на липы, на серое небо, и думала.

Тринадцатое октября. До него — две недели. Целая жизнь — или ни одного дня, смотря как считать.

Матушкин медальон лежал на груди, тёплый, привычный. Я нащупала его пальцами, как делала всегда, когда боялась, — и вспомнила, как она, умирая, сняла его с себя и надела мне, и сказала: «Здесь твоё имя и моё. Пока он с тобой — ты не одна». Я не знала тогда, что она имела в виду. Не знаю и теперь. Но медальон не снимала никогда.

Двенадцать лет я была послушной дочерью. Ела, что подают, носила, что шьют, молчала, когда приказывали. Я умела быть вещью — меня этому учили с колыбели, так же, как учат ходить и говорить. И только теперь, с бумажкой за корсажем, я поняла, что вещь я только снаружи. Внутри — там, где медальон, где ключик, где имя, написанное чужим твёрдым почерком, — внутри я живая. И живая я не хочу быть вещью.

Сергей Ильич Березин приехал на другой день, в полдень, и я впервые увидела его близко.

Он был старше отца: грузный, седой, с тяжёлыми веками и руками, которые, когда он садился, ложились на колени, как две гири. Держался он ровно, без спеси, но от него веяло такой уверенной тяжестью, что в комнате с его появлением будто становилось теснее: он занимал собой воздух, как занимают место.

Отец встретил его в гостиной, велел подать чаю, и я вошла — как велели. Вошла, поклонилась, встала у окна, сложив руки, как учили: «Стой смирно, смотри вполглаза, не говори первой».

Березин оглядел меня медленно, как оглядывают лошадь на ярмарке: сперва лицо, потом руки, потом платье — и цену этому платью он, кажется, определил сразу, с точностью до рубля.

— Хороша, — сказал он отцу, как говорят о товаре. — Порода видна. Морозовская порода. Это ценится.

Отец заулыбался, закивал, и мне захотелось провалиться сквозь паркет. Я стояла и слушала, как они торгуются: за меня, за дом, за землю, за векселя, за будущее, — и голоса их были ровные, деловые, и чай остывал в чашках, и я стояла у окна, и понимала, что меня здесь нет. Есть статья расходов. Есть статья доходов. Есть «хороша, порода видна». А меня — нет.

— Варвара Александровна, — сказал Березин, повернувшись ко мне, и я вздрогнула, как от окрика. — Подойдите.

Я подошла. Он смотрел на меня снизу вверх, и глаза у него были светлые, водянистые, и в них не было ничего — ни злости, ни тепла, ни любопытства. Пустота. Так смотрят на вещь, которую уже купили и которая поэтому больше не интересна.

— Медальон, — сказал он, кивнув на мою грудь. — Снимите. К свадьбе я подарю вам другой, с камнем. Так приличнее.

Рука моя сама легла на медальон, накрыла его ладонью, как мать закрывает ребёнка.

— Это матушкин, — сказала я. — Я его не снимаю.

— Снимите, — повторил он, и в голосе его не появилось ни грана больше, чем было: та же ровная пустота. — В приличном доме жена купца не носит дешёвого серебра. Это будет... — он искал слово и нашёл, — ...неуместно.

Тишина. Я смотрела на него, и он смотрел на меня, и отец кашлянул где-то сбоку, и я поняла, что это не про медальон. Это про то, кто здесь решает. Про то, кто вещь, а кто хозяин.

Я сняла медальон. Цепочка звякнула, серебро легло в ладонь, тёплое ещё, живое. Я сжала его в кулак — и, поклонившись, шагнула назад, к окну, и спрятала руку за спину, в карман юбки. Отдавать его я не собиралась. Не ему. Никому.

Березин посмотрел на мой кулак — и, кажется, всё понял. Но ничего не сказал. Только усмехнулся одними глазами — так усмеваются над ребёнком, который прячет игрушку, зная, что игрушку всё равно отберут.

— Воспитана, — сказал он отцу. — С характером. Это тоже ценится, если уметь обращаться.

Он уехал в четвёртом часу, и я слышала, как затихает его экипаж на аллее, и стояла у окна, и держала в кулаке матушкин медальон, и думала, что теперь всё решено окончательно: я не хочу быть вещью. Я лучше буду нищей, лучше буду беженкой, лучше буду никем — но не вещью.

Вечером отец позвал меня в кабинет. Он сидел за столом, и лицо у него было усталое, но довольное — довольное, как у человека, который закрыл наконец самый долгий свой счёт.

— Сергей Ильич торопится, — сказал он. — Ему нужна хозяйка в доме, и он не хочет тянуть. Венчание решено на двадцать восьмое октября. — Он помолчал и добавил, мягче, чем я ждала: — Я знаю, ты не рада. Но жизнь, Варвара, не всегда про то, чтобы радоваться. Иногда она про то, чтобы удержать то, что имеешь.

— Удержать, — повторила я.

— Удержать. Дом, землю, имя. Пока мы держимся за это — мы Морозовы. Без этого мы... никто.

— А я? — спросила я. — Я — это тоже то, что нужно удержать?

Отец посмотрел на меня долго, и что-то в его лице дрогнуло — или мне опять показалось.

— Ты — это то, ради чего всё это держится, — сказал он. — Ты и есть дом, Варвара. Когда ты уйдёшь — дома не будет. Ты понимаешь?

Я поняла. Я всё поняла. Я — это дом. Не человек. Дом, который можно продать, чтобы спасти дом.

— Понимаю, батюшка, — сказала я. — Спокойной ночи.

В коридоре я шла и считала шаги, чтобы не заплакать, и считала, и считала, и на двадцать седьмом шаге поняла, что слёз нет — есть только холод, ровный и чистый, как вода в пруду. Холод, в котором очень ясно: двадцать восьмое октября — значит, тринадцатое — последняя ночь. Последняя ночь, когда я ещё не вещь.

У себя я заперлась, достала дневник, и писала долго, и чернила ложились ровно, и буквы выходили спокойные, а руки дрожали.

«Нынче приезжал Березин. Он смотрел на меня, как на лошадь, и велел снять матушкин медальон — и я сняла, и спрятала в карман, и не отдам. Никому и никогда.

Отец сказал: венчание двадцать восьмого октября. Значит, тринадцатое — всё. Лодка у ивы, лошади у мельницы, поезд на рассвете. Москва. Контора Лапина. Жизнь.

А если не выйдет — я знаю, что сделаю. Я уже видела этот пруд. Я знаю, как в него входят: сначала щиколотки, потом колени, потом всё. Вода не обманывает. Вода — единственное, что не врёт.

Прости меня, матушка. Я не хотела, чтобы так».

Я заперла дневник, спрятала ключик в корсет — и замерла.

Внизу, под моей комнатой, скрипнула половица. Один раз. Коротко, осторожно — так скрипят под ногой человека, который стоит и слушает.

Я стояла посреди комнаты, не дыша, и смотрела на дверь, и сердце стучало так, что, казалось, слышно на всю усадьбу.

Половица не скрипнула больше. Дом молчал — ровно, глубоко, как молчат старые дома в ночь перед долгой зимой.

Но я знала, что внизу кто-то стоит. И я знала — так же верно, как знала, что тринадцатого я пойду к пруду, — что этот кто-то стоял и слушал не случайно.

Вопрос был только один: кто. И я боялась ответа.

— — ГЛАВА 8

Дождь шёл третий день.

Он начался в воскресенье, и к среде деревня утонула в нём по колено: аллея превратилась в ручей, пруд поднялся и стал серым, как небо, и дом гудел от воды, которая стекала по желобам, капала с крыши, звенела в трубах. Вера Петровна уехала на базар в райцентр — «к вечеру, к вечеру буду, не помрёшь без шей», — и я осталась в усадьбе одна, и это было странно: я думала, что буду бояться, а вместо страха пришло что-то другое. Покой. Дом без людей дышал иначе — глубже, ровнее, как будто выдохнул наконец после долгого напряжения.

Я разобрала почти весь архив. Всё, что было в сундуках, легло в описи: счета, письма, купчие, метрики, черновики — четыре века бумаги, из которых я уже начала складывать жизнь этой семьи, как складывают мозаику. Я знала теперь, кто из Морозовых женился на ком, кто закладывал что, кто умирал от чего. Я знала, что в тысяча восемьсот шестьдесят третьем году имение чуть не продали с торгов и спасли его, заняв у Березиных-старших. Я знала, что мать Варвары умерла в восемьдесят девятом, от чахотки, быстро и тихо.

Я знала всё, кроме главного. Что случилось в ночь на тринадцатое октября.

Документы об этой ночи молчали, как молчат о семейном позоре. В метриках — «утонула в пруду, тело не найдено», в переписке — ни слова, в описи пропавших вещей — список, который я знала наизусть: платье, башмаки, шаль, гребень, книга, письма, медальон.

Дневника в описи не было.

Я замечала это уже несколько дней — и не могла перестать замечать. Среди вещей, пропавших вместе с хозяйкой, не значилась ни одна тетрадь. А Варвара, судя по письмам подруги, вела дневник — подруга упоминала его дважды, вскользь, как упоминают общую тайну: «надеюсь, твоя тетрадь по-прежнему хранит всё, что не должны знать другие».

Значит, дневник не пропал. Его спрятали. До того, как всё случилось, или после — но спрятали намеренно, так, чтобы его не нашли.

Вопрос был: где.

Я обошла дом — весь, от чердака до подвала, — заглядывая во все углы, простукивая плинтусы и половицы, как учили на курсах: старые дома любят тайники, и тайники эти почти всегда в самых видных местах. В буфетной за досками шуршали мыши, в кладовке пахло яблоками, в гостиной под отставшим паркетом оказалась пустота, в которой жили мокрицы. Пусто.

Остался кабинет.

Я вошла туда в четвёртом часу, когда дождь на миг стих и свет стал ровный, серый, как сталь. Портрет смотрел на меня со стены — я уже привыкла к нему и всё равно каждый раз вздрагивала, как от чужого голоса в пустой комнате. Часы стояли на каминной полке, стрелки — на тринадцати десяти. Я прошла мимо них к камину и встала перед ним, рассматривая обшивку.

Камин был старый, изразцовый, с деревянными панелями по бокам — тёмный дуб, резной, в мелкий геометрический рисунок. Я смотрела на панели и не могла понять, что меня цепляет. Рисунок ровный. Дуб тёмный. Стыки плотные...

А потом я увидела.

Правая панель — та, что ближе к окну, — была на полпальца ниже левой. Не на глаз — на ощупь: я провела пальцем по стыку, и палец уловил ступеньку, которую глаз прощал. И рисунок на ней — если присмотреться — начинался не с того места: ромбы обрезаны не там, где у левой.

Панель снималась.

Я нажала на неё, постучала, попробовала поддеть ножом. Она не поддавалась — но и не была прибита намертво: гвозди, которые держали её, были другие, новее, с плоскими шляп-

ками, не такие, как по всему дому. Кто-то снимал эту панель раньше. Снимал — и ставил обратно.

Я вышла в буфетную, принесла монтировку, которой Вера Петровна открывала ящики, и — как реставратор, как человек, который знает, что дерево прощает одну ошибку, — подцепила панель за нижний край.

Она отошла с сухим щелчком, как отдирается корка.

За ней была ниша.

Неглубокая, в полкирпича, выложенная изнутри так же аккуратно, как всё в этом доме. В нише, на кирпичной полке, лежал свёрток — промасленная холстина, перевязанная суровой ниткой, пожелтевшая, в пыли, которая не знала рук сто лет.

Я стояла, смотрела на свёрток и не могла взять его. Сердце стучало ровно и глухо, как шаги по коридору. Я знала, что это. Я знала это так же точно, как знала, что дождь за окном скоро вернётся.

Я взяла свёрток. Холстина была сухая, ломкая, пахла воском и тем самым сладким запахом, который я теперь узнавала везде — запах старых чернил, старой бумаги, старой жизни.

Внутри была тетрадь.

Толстая, в тёмном переплёте, с потускневшим тиснением по коже. Замок — маленький, латунный — был сорван: скоба отломилась от времени, и тетрадь держалась только на тесёмке, которую кто-то когда-то завязал бантом и больше не развязывал.

Я развязала тесёмку.

И открыла первую страницу.

Почерк был ровный, женский, с наклоном вправо — почерк человека, который привык писать много и быстро. Чернила выпцвели до сепии, но читались легко, и я прочитала первую строку — и замерла, потому что строка эта была мне знакома.

«Утро началось с грачей».

Я читала дальше, и мир вокруг сужался, как в туннеле: дождь за окном, дом, пруд, век — всё отступило, осталась только бумага и голос, который звучал в моей голове, ровный, живой, слышимый, как будто она сидела напротив.

«Они кричали за окном так, что звенело в ушах... Я открыла глаза и долго лежала, глядя в потолок... Двадцать четыре года, а меня всё ещё будят, как девочку...»

Я листала. Страница за страницей, день за днём — и голос её креп, и я узнавала не только интонации, но и места: липовая аллея, пруд у старой ивы, кабинет с бронзовыми часами, «часы эти, бронзовые, с маятником, и стрелки, которые стояли ровно, хотя часы шли: их не заводили с той минуты, как умерла матушка».

Я подняла голову и посмотрела на часы на каминной полке. Те самые. Стрелки — тринадцать десять.

Я опустила глаза и читала дальше.

«Нынче утром батюшка объявил мне, что я просватана за Березина...»

«У пруда я встретила человека, которого никогда не видела, и он сказал, что туман всё прячет, а иногда показывает...»

«Агафья сунула мне записку в рукав... Лодка будет у старой ивы, лошади — у мельницы за оврагом, до станции полторы версты, на рассвете отходит поезд до Москвы...»

Я читала, и волосы на руках стояли дыбом, потому что это были не просто записи о прошлом. Это была она. Живая, решительная, отчаянная — женщина, которая готовила побег, которая выбрала жизнь против судьбы, которая стояла у того же пруда, у той же ивы, где я стояла вчера, где я видела во сне серебряный медальон в мокрой траве.

«До Тринадцатого», — писала она, и буквы её были твёрдые, без дрожи. — «Лодка у ивы, лошади у мельницы, поезд на рассвете. Москва. Контора Лапина. Жизнь».

Тринадцатое. Тот самый день, когда она «утонула». Она не собиралась тонуть. Она собиралась бежать.

Я перевернула страницу — и сердце у меня остановилось.

Дальше была пустота.

Не конец тетради — страницы были, толстая стопка чистых листов, — а конец записей: последняя запись обрывалась на полуслове, на середине строки, и дальше шёл рваный край, след от вырванного листа, ровный, как будто его вырвали, зажав тетрадь под линейку.

Я перевернула обратно, перечитала последнюю запись целиком. Она была короткая, торопливая, писана накануне побега — и я узнала её, потому что уже читала эти слова, в другой главе этой же тетради, двумя днями раньше:

«А если не выйдет — я знаю, что сделаю. Я уже видела этот пруд. Я знаю, как в него входят: сначала щиколотки, потом колени, потом всё. Вода не обманывает. Вода — единственное, что не врёт».

Я сидела, глядя на эти строки, и дождь за окном вернулся, и стучал по стёклам, и мне было холодно, хотя в кабинете было тепло.

Она знала, что сделает, если не выйдет. И она знала, что я это прочитаю. Мне вдруг стало не по себе от этой мысли — что она писала не для себя, а для меня, для той, что придёт через сто двадцать шесть лет, найдёт тетрадь за панелью и прочитает.

А потом я заметила то, чего не замечала раньше.

На последней странице, на том месте, где начинался вырванный лист, — на бумаге остался след. Вдавленный, чуть побуревший, как отпечаток чернил, которые легли на верхний лист, когда тот ещё лежал сверху: чернила въелись в страницу сквозь лист, как вода сквозь марлю.

Я наклонилась, поднесла страницу к свету, прищурилась — и прочитала.

Отпечаток был неполный, обрывками, но несколько слов читались ясно, как будто она кричала мне сквозь бумагу:

«...пока кто-то из нас не скажет правду вслух, дом будет повторять эту ночь. Я говорю...»

Дальше след обрывался. Но и этого было достаточно.

«Дом будет повторять эту ночь».

Я сидела, и дождь стучал, и в руках у меня лежала тетрадь, из которой кто-то вырвал правду, — а я всё смотрела на вдавленные буквы, и мне казалось, что я слышу её голос, ровный, как у меня самой, и что она стоит где-то рядом, за плечом, и ждёт, когда я пойму.

Я пойму. Я уже начинала понимать.

А потом, очень тихо, над моей головой, на втором этаже, скрипнула половица.

Один раз. Коротко. Так скрипят под ногой человека, который стоит и слушает.

Я замерла, не дыша, с тетрадью в руках, и смотрела на потолок, и ждала — повторится или нет.

Дождь стучал. Часы молчали. Дом слушал.

И я поняла, что не одна в этом кабинете. И что тот, кто вырвал страницу из дневника сто двадцать шесть лет назад, — он всё ещё здесь.

— — ГЛАВА 9

Утром дождь кончился, и впервые за четыре дня небо над усадьбой было чистое, холодное, как промытое стекло.

Я вышла на крыльцо с дневником в руках — я не выпускала его из рук с той минуты, как нашла, даже спала с ним, под подушкой, как с ребёнком, — и стояла, вдыхая мокрый воздух, и думала, что делать дальше.

Рассказать кому-то. Нужно было рассказать кому-то. Держать это в себе я больше не могла: тетрадь жгла руки, и слова её жгли голову, и я поймала себя на том, что разговариваю с ней — вслух, шёпотом, как с человеком.

— Ну и что ты молчишь, — говорила я ей. — Ты же знаешь, что было дальше. Ты знаешь, кто тебя спрятал. Скажи.

Тетрадь молчала. Тетради вообще молчат — это я знала по профессии лучше всех: бумага хранит, но не говорит, и вся работа реставратора в том и состоит, чтобы выпытать у неё правду, не повредив её.

Но кому сказать?

Вере Петровне я не могла: что-то в её глазах, когда она смотрела на меня, — как нажданную, как на вещь, которую искали, — останавливало меня каждый раз. Она знала больше, чем говорила, и от этого с ней было темно, как в колодце.

Участковому — смешно. Он бы записал: «гражданка Морозова нашла старую тетрадь», — и на том бы дело кончилось.

Андрею — нельзя. Я не доверяла ему. И именно поэтому он мне снился — я знала эту ловушку: недоверие цепляет крепче доверия, и я всю ночь крутилась, и видела его глаза, и слышала его голос: «Не отдавайте никому. Особенно мне».

Оставался Дмитрий.

Дмитрий, который знал об усадьбе больше всех, который принёс мне книгу с описями, у которого была монография, неопубликованная, потому что, как он сказал с той же застенчивой улыбкой, «не нашёл издателя, а может, и не искал». Дмитрий, от которого пахло старыми книгами и чаем, и с которым было просто, по-человечески, без тёмных подтекстов.

Я позвонила ему с моста — там, где ловила сеть, — и он ответил на втором гудке, как будто ждал.

— Дмитрий, это Александра. Мне нужно вам кое-что показать.

— Покажите, — сказал он. — Приезжайте в музей. Или я к вам.

— Лучше вы ко мне, — сказала я. — Это... это не увезти.

Он помолчал. Потом сказал, и голос его стал тише:

— Нашли что-то?

— Нашла.

— Еду, — сказал он, и в этом коротком слове мне послышалось что-то — не радость, не любопытство, а напряжение, как у человека, который давно ждал звонка, которого боялся.

Он приехал через час на старой «Ниве» с проржавевшими крыльями. Я встретила его на крыльце, и он посмотрел на меня, на дом, на небо — и я увидела, как он собирается с духом, как собираются перед тяжёлым разговором.

— Ну, показывайте, — сказал он.

Мы прошли в кабинет. Я закрыла дверь, хотя в доме никого не было, — и это движение не укрылось от него: он посмотрел на дверь, потом на меня, и в глазах его мелькнуло что-то, чему я не нашла имени.

— Вера Петровна уехала на базар, — сказала я. — Вернётся к вечеру. Мы одни.

— Мы одни, — повторил он, и голос у него был странный.

Я достала дневник из-за пазухи — я носила его так, ближе к телу, как носят то, что боишься потерять, — и положила на стол, на зелёное сукно.

Дмитрий смотрел на тетрадь, и лицо его медленно менялось, как меняется небо перед грозой. Сначала недоумение. Потом узнавание — такое, с каким смотрят на вещь, которую видели когда-то и не надеялись увидеть снова. Потом — бледность. Настоящая, страшная, какая бывает не от испуга, а от чего-то глубокого, давнего, поднявшегося со дна.

Он протянул руку, но не взял. Только коснулся переплёта кончиками пальцев, как касаются лица спящего.

— Где вы её нашли? — спросил он, и голос у него сел.

— За панелью камина. Правая сторона. Панель снималась.

Он закрыл глаза. На миг — на один только миг — и открыл, и лицо его стало прежним: тёплым, чуть смущённым, добрым. Но я успела увидеть. Я успела увидеть, как он знал, что она там. Как он знал, за какой панелью.

— Дмитрий, — сказала я тихо. — Вы знали, что она там.

Он молчал долго. Потом сел на стул у стола — тяжело, как садятся после долгой дороги, — и сказал, глядя мимо меня, в окно:

— Я не знал, что она там. Я знал, что она где-то есть.

— Откуда?

— Семейное предание. — Он усмехнулся, и усмешка вышла кривая. — У нас, у Соколовых, своё предание, Александра. Не хуже вашего морозовского. Передаётся из поколения в поколение, от отца к сыну, наряду с ремеслом. Только наше предание — стыдное. О нём не рассказывают за чаем.

Я ждала. Он молчал, собираясь с силами, и в тишине было слышно, как за окном шумит ветер в голых липах.

— Мой прадед, — сказал он наконец, — Егор Степанович Соколов, был приказчиком в этой усадьбе. При Морозовых. Служил верой и правдой — как считалось. В тысяча восемьсот девяносто первом году, после... после всего, что случилось, — он купил себе дом в Ключах. Дом, лавку, землю. На жалованье приказчика таких денег не бывает.

Он замолчал. Я смотрела на него, и внутри у меня всё стянулось, как узел.

— Прадед мой, — продолжал Дмитрий, и голос его был ровный, как доска, — получил плату за молчание. За то, что видел в ночь на тринадцатое октября и не сказал никому. За то, что не сказал — что видел. Семья наша на этом стоит, Александра. Дом, лавка, моя монография, моя жизнь — всё это построено на его молчании. Я знаю это с детства. Мне это рассказал мой дед, а ему — его отец, и так до Егора. «Никогда не лезь в морозовские дела, — говорили мне. — У них своя правда, у нас своя. Наша — тихая».

Он посмотрел на меня, наконец, в упор, и я увидела в его глазах то, чего не видела раньше: вину. Старую, вьёвшуюся, как табачный запах в пальцы.

— Поэтому я и сказал вам тогда, что знаю, где архива нет. Я знаю, где его нет, — потому что знаю, что есть. И что оно не должно выйти наружу. — Он помолчал. — Простите. Я должен был сказать вам с самого начала.

Я стояла, и слова его лежали между нами, как вещь, которую нельзя убрать. Мой Дмитрий — тёплый, надёжный, пахнувший книгами, — оказался не просто краеведом. Он был наследником молчания. Он был тем, кто знал — и не сказал.

— Дмитрий, — сказала я, и голос у меня дрогнул, — что он видел? Что видел ваш прадед в ту ночь?

Дмитрий долго молчал. Смотрел на дневник, на портрет на стене, на свои руки — и я видела, как он борется с собой, как борется человек, который всю жизнь носил чужую тайну и вдруг понял, что тайна эта тяжелее, чем он думал.

— Не знаю, — сказал он наконец. — И это правда, Александра. Никто из нас не знает. Егор унёс это с собой. Он рассказывал только одно: что в ту ночь в усадьбе было трое, и что он видел их всех — и что промолчал. А дальше — могила. Могила и дом, купленный на молчание.

— Трое, — повторила я. — Трое у пруда.

— Трое, — сказал он. — И один из них... — он запнулся, — ...один из них был не тот, кого вы думаете.

Я хотела спросить ещё, но он поднялся, и лицо его снова стало чужим, замкнутым, как вчера, когда он смотрел на Андрея.

— Александра, — сказал он. — Я прошу вас. Не лезьте в это. Спрячьте дневник туда, где нашли. Забудьте про опись. Уезжайте — у вас есть работа, у вас есть жизнь, у вас есть Москва. Эта история не кончилась, Александра. Она не кончилась, она просто ждёт. И я не хочу, чтобы она дождалась вас.

— А кого она ждёт? — спросила я.

Он посмотрел на меня долго — и не ответил. Только повторил, тихо, как заклинание:

— Не лезьте. Прошу вас.

Он ушёл — я слышала, как завёлся мотор «Нивы», как стих звук за аллеей, — а я стояла в кабинете, и дневник лежал на зелёном сукне, и портрет смотрел на меня со стены, и я думала о том, что он сказал: «трое», «не лезьте», «она ждёт».

Он знал больше, чем говорил. И то, что он не сказал, было страшнее того, что он сказал.

Вечером я сидела в своей комнате, при керосинке, и перечитывала дневник — третий раз, уже с карандашом, выписывая даты, имена, места. За окном темнело, и ветер гудел в трубе, и я слышала, как Вера Петровна гремит посудой во флигеле — она вернулась с базара и не зашла ко мне, и я не пошла к ней: я не знала, что ей говорить.

А потом я услышала шаги.

Не наверху — внизу, на гравии. Мягкие, крадущиеся, как будто человек шёл на цыпочках. Я задула керосинку, подошла к окну, отодвинула занавеску — и замерла.

По аллее, от калитки к дому, шёл Дмитрий.

Он шёл медленно, оглядываясь, держась ближе к кустам, как человек, который не хочет, чтобы его видели. В руках у него ничего не было. Он дошёл до крыльца — и остановился. Постоял, глядя на окна — на моё окно, тёмное, я видела это, — потом повернулся и пошёл назад, к калитке, так же крадучись, и скрылся за кустами сирени.

Я стояла у окна, и сердце у меня стучало ровно и глухо, как шаги по гравиию.

Дмитрий. Ночью. Крадучись, у моего дома.

Я выждала десять минут, накинула куртку и вышла. Аллея была пуста. Луна стояла над липами, и тени лежали длинные, чёрные, и на гравии, там, где он стоял, виднелся след — тёмное пятно, как будто он стоял долго, на одном месте, топчась.

И на ступеньке крыльца, у самой двери, лежала ветка сирени. Свежая, сломанная только что, с ещё не облетевшими листьями.

Сирень. В сентябре. В конце сентября.

Я подняла ветку. Листья были холодные, пахли осенью и чем-то ещё — чем-то сладким, знакомым, тем самым запахом, который я теперь узнавала везде: запах старой бумаги, старых чернил, старой жизни.

Ветка сирени на крыльце. Зачем?

Я стояла с веткой в руках, и луна стояла над липами, и дом за моей спиной молчал, и я думала о Дмитрие, который знал, где спрятан дневник, и о Егоре, который купил дом на молчание, и о том, что он сказал: «она ждёт».

И о ветке сирени, которую кто-то положил мне на крыльцо — как знак. Как предупреждение. Или как приглашение.

Я не знала, что это. Я знала только, что это не случайность.

В этом доме не было случайностей.

— — ГЛАВА 10

До Тринадцатого оставалось пять дней.

Я считала их, как считают деньги перед дальней дорогой: каждый день — на вес золота, каждый час — в долг. Дни тянулись медленно, как телега в гору, и я жила в них двойно: снаружи — покорная дочь, готовящаяся к венчанию; внутри — беглянка, которая уже ушла.

Агафья замечала. Она вообще замечала всё — так, как замечают люди, прожившие жизнь не в своей, а в чужой, и научившиеся читать по лицам, как по книгам.

— Ты, барышня, последнее время сама не своя, — сказала она однажды вечером, расчёсывая мне волосы. — Глаза горят. Как у кошки перед грозой.

— С чего бы мне гореть, Агафья? Венчание скоро.

— То-то и оно, — сказала она и замолчала, и гребень её ходил ровно, как маятник, и я чувствовала, как она ждёт — не скажу ли я чего. Я не сказала.

Сборы я сделала за один вечер, когда Агафья ушла к себе: материн шерстяной платок, смена белья, гребень, маленький кошелек с деньгами, которые я копила три года — по рублю, по полтине, откладывая от всего, что давали на булавки. Денег было мало. Смешно мало. Но у меня были материны серьги — жемчужные, в старой оправе, единственное, что осталось от её приданого, — и я решила: если понадобится, я их продам. Они прокормят нас в Москве, пока Николай не получит первое жалованье.

Серьги я зашила в подкладку платья, туда же — ключик от дневника. Дневник я решила оставить: не потому что не хотела брать, а потому что не могла. Он был слишком тяжёлый, слишком заметный, и я боялась, что в дороге его найдут и прочитают — а в нём были имена. Имена людей, которых я не имела права подставлять.

Я спрячу его, решила я. Спрячу так, чтобы никто не нашёл. А когда устроимся в Москве — напишу отцу, и он пришлёт его мне. Или не пришлёт. Но так будет правильно: дневник останется здесь, в доме, где всё началось, — как свидетель, которого некому допросить.

Куда спрятать? Я обошла дом, как чужая, — и поняла, что тайник должен быть в самом видном месте: там, где никто не догадается искать. В кабинете отца, куда все заходят и никто не смотрит по сторонам. За обшивкой камина, у правой панели, где дуб дал трещину и панель чуть осела.

В ту же ночь, когда отец заперся у себя, а Агафья ушла спать, я вышла в кабинет босиком, со свечой, и спрятала дневник за панелью. Руки не дрожали. Я делала это так, как делают всё, что решено окончательно: спокойно, бережно, навсегда.

«До свидания, — сказала я ему шёпотом, задвигая панель. — Ты подождёшь. Ты умеешь ждать».

Панель села на место с сухим щелчком.

Встречу с Николаем назначили у мельницы, за оврагом, — там, где начинался лес и где никто из усадебных не ходил. Я пришла на час раньше, в сумерках, и стояла под старой ольхой, и слушала, как скрипит мельничное колесо, хотя мельница не работала — скрипело само время, старые брёвна, старая тишина.

Он пришёл, когда стемнело. Вышел из-за ольшаника беззвучно, как выходят люди, привыкшие ходить по чужим местам, — и я увидела, что он несёт в руках небольшой узел.

— Это вам, — сказал он, отдавая узел. — На дорогу. Тёплое. В Москве по ночам уже холодно.

В узле было шерстяное платье, добротное, простое, без кружев — не барское. Я посмотрела на него, потом на него — и почувствовала, как что-то подступает к горлу: меня никто никогда не одевал. Меня обряжали, наряжали, причёсывали — как куклу, как вещь. А он — одевал. Как человека.

— Спасибо, — сказала я. — Оно... оно очень хорошее.

— Хорошее, — согласился он. — Тёплое. Это главное. — Он помолчал и добавил, глядя на меня в темноте: — Варвара Александровна. Всё готово. Лодка будет у ивы, я сам её поставлю, перед самым сроком. Лошади — у мельницы, их пригонит мой знакомый, конюх с сушковской, ему можно верить. До станции — полторы версты, по тропе вдоль реки, я буду ждать вас у поворота. Поезд до Москвы отходит на рассвете, в пять сорок. Если опоздаем — следующий будет только вечером. Тогда переждём день в сторожке у стрелочника: он мой кум, человек надёжный. — Он говорил ровно, по-деловому, и я слушала, и сердце моё стучало ровно, в такт его словам. — Деньги у меня есть. Контора Лапина ждёт. Всё сделано, Варвара Александровна. Осталось только одно: придти.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.